



## А. Д. ГАЛАХОВ

### Лермонтов

<отрывки>

#### III

Те два образа, титанический и мелкий, о которых мы упоминали в предыдущей статье: один — наделенный мощными способностями духа и тела, часто изнемогающий от избытка сил, другой — всегда бессильный и своею слабостию возбуждающий не только сожаление, но и презрение, — эти два образа выступают постоянно и в сочинениях Лермонтова.

Типы могучих характеров нам уже известны: это Измаил, Арсений, Орша, Мцыри, Арбенин, Демон, Печорин; это, наконец, сам Лермонтов. Типы слабых натур или являются перед нами лицом к лицу, или знакомятся с нами посредством описаний и лирических излияний самого автора. Они ничтожны иногда до презрения, каков, например, в «Маскараде» князь Звездич, иногда до смешного, каков, например, в «Герое нашего времени» Грушницкий. <...>

Но и могучие герои Лермонтова платят дань общей судьбе современного поколения, они также причастники его немощей, заражены тою же болезнью. Двойственность лиц, титанических и мелких, повторяется и в двойственности титанического образа. Герой и сам видит, и другим дает видеть раздвоение своей натуры: одна ее половина сильная и деятельная, выдвигающая его на передний план; другая — ослабленная и растленная, приравнивающая его пигмеям. Ослабление, как нам уже известно, совершилось влиянием мысли, анализа, сомнения, которое не только поражает энергию воли, но иногда и вовсе осуждает на вялую жизнь. «Во мне два человека, — гово-

рит Печорин, — один живет в полном смысле слова, другой мыслит и судит его». Мцыри противопоставляет человека коню и отдает предпочтение последнему, ибо он умеет в чужой степи сбросить с себя седока и найти прямую и короткую дорогу на родину. Природным чувством бессознательное существо достигает цели, тогда как сознание часто мешает нам достигнуть цели. Хилость одолевает нас. Мы — темничный цветок, боящийся света и опаляемый лучами даже утреннего солнца. Подобно шильонскому узнику, мы вздыхаем по тюрьме, к которой привыкли, вздыхаем выпущенные на свободу, от которой отвыкли<sup>1</sup>. Сколько завидует герой бодрой силе животного инстинкта, столько же завидует он наивным заблуждениям, которые у предков наших могли идти рядом с силою воли, не препятствовали уверенности, дающей уму и сердцу спокойствие, наслаждению истинную сладость, делу орудие. <...>

В числе жалких потомков, «скитающихся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха», Печорин дает место и себе: «В напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге».

Немощь современного поколения, которого грядущее или темно, или пусто и которое ветшает в бездействии, под бременем познания и сомнения, всего яснее и определительнее раскрыта в лирическом стихотворении «Дума», одной из самых печальных элегий и вместе одной из самых правдивых и обидных сатир. Не выписываем ее, как известную всем, вероятно даже наизусть. Эта сатира-элегия характеризует действительную болезнь эпохи, истинное чувство поэта, не чуждого той же боли, главный, если не единственный, источник его грусти о других и себе, его ненависти к другим и себе.

После этого понятна антипатия Лермонтова к состоянию людей, нами представленному, равно как его симпатия ко всему, что противоположно подобному состоянию. Все, выказывающее свежие силы или восстанавливающее силы истощенные, любовно привлекает его. Он всегда готов срывать лживо-изящный покров, которым думает замаскироваться пустота сердца, фальшь ума. Он скоро задыхается в атмосфере официального света, но так же скоро отдыхает на вольном просторе степи, когда мчится на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра. Первобытность дикого народа или наивность простого человека служит для него убежищем от разных бед-

ствий полуобразованного общества, стоящего на рубеже Европы и Азии. Особенно негодует он на лицемерие столичной жизни, где думают одно, а делают другое, где так просвещенны, что не могут уже думать иначе, и так растленны, что лишены способности обратить мысль в дело. Понятно также, почему Лермонтов выбирает нередко в своих поэмах местом действия Кавказ, а действующими лицами горцев, народ первобытный, не утративший естественных сил и готовый отважно заявить их при каждом случае. Это герои, хотя и дикие. Если черкес привязан к родине, привязанность его могущественна, как у Мцыри; если он считает себя обиженным, мщение для него неотразимый долг, как у Хаджи Абрека. При многих предрассудках и суевериях, необходимых принадлежностях варварского племени, у него есть сила в руке и уверенность в душе. Он умеет владеть кинжалом и не задумается отравить ядом.

Вследствие того же Лермонтов от настоящего времени охотно обращается к годам старым, царствованию Грозного. Предки наши, менее нас знавшие, пользовались, однако ж, благами, для нас заветными, как бы невозможными при знании развитом. У них воля не состояла в обратном отношении к мысли. Раз убежденные в долге или необходимости поступить так или иначе, они не откладывали дела, не раздумывали при его совершении, не раскаивались по совершении. Опричник, полюбив купеческую жену, ласкал ее без боязни, а купец тоже без боязни умел отомстить за свою честь, «не дать свою верную жену на поругание злему охульнику». Боярин Орша и Арсений, хотя вызванные для воплощения байроновских идей, были люди твердые: тот крепко стоял за власть и честь отца, этот за свою независимость. Наконец, вследствие того же самого, Лермонтов питает такое расположение к личностям простым, чуждым лицемерия и аффектации, к детям, у которых и быть не может разлада между силами духа и стремлениями жизни, и не к детям, вроде Максима Максимыча, сохранившим за собою естественную гармонию человека. Описав впечатление, произведенное на штабс-капитана видом с Гуд-горы, Лермонтов прибавляет: «В сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее во сто крат, чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и бумаге». Печорин приязненно сошелся с доктором Вернером не потому собственно, что доктор умен и остроумен, а потому, что при этих качествах он не заразился обычными недостатками людей образованных: он прост в обращении, во взгляде на жизнь, в поступках. О сочувствии героев Лермонтова и самого Лермонтова к природе, как

вытекающем из того же источника, мы уже говорили в первой статье.

Вину такого жалкого состояния современных людей Лермонтов приписывает цивилизации. Нельзя несколько усомниться в его понятии об этом предмете, которое свидетельствуется многими местами его сочинений. Так Арбенин, хотя и сильный человек, прижат к земле нашим веком наряду с другими: *он изнемог под гнетом просвещения*: любить он не умел, а на мщение не решался, при всем хотении мстить; смеясь над своим слабоволием, он горькою иронией оканчивает один из своих монологов:

Так, в образованном родился я народе:  
Язык и золото — вот наш кинжал и яд.

Одна из лирических тирад в «Измаил-Бее» указывает на бесчестное обыкновение *образованных людей* — не отдавать своей души вместе с рукою. «Дума» оплакивает наше поколение за то, что оно бездейственно дряхлеет под *бременем познания* и сомнения, что оно иссушило ум *наукою* бесплодною. Стихотворение «Поэт» называет современных певцов осмеянными пророками, ибо в наш изнеженный век они утратили свое назначение, променяв на золото ту власть, которой свет некогда внимал с благоговением:

Нас тешат блески и обманы;  
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык  
Морщины прятать под румяны.

Таким образом, просвещение является у Лермонтова бременем, или игом, которое гнетет нас, иссушает ум, поражает бездействием волю. Благодаря ему ветшает мир; благодаря ему мы жалкие, хотя и образованные, потомки предков почтенных, хотя и необразованных. От него человек, по энергическому выражению Гоголя, становится дрянью и тряпкой<sup>2</sup>.

Настроение жизни, против которого сильно негодует Лермонтов, действительно заслуживает негодования людей здравомыслящих. Хотя жестоко поступать с Грушницким, Мери, князем Звездичем и другими им подобными так, как поступили с ними герои нашего поэта, лишая их спокойствия, чести и даже жизни: ибо эта жестокость есть своего рода неразумие и несправедливость; но совершенно разумно и справедливо вооружаться всеми законными способами против нравственной болезни во имя нравственной трезвости.

Если тревожное состояние духа обязано своим происхождением известным историческим обстоятельствам и, как естественное, вполне последовательное явление, доступно не только объяснению, но и оправданию, то при дальнейшем своем развитии оно способно уклониться в сторону, принять искаженный вид, обратиться, по воле нас самих, в уродливость и, таким образом, не теряя возможности быть объяснимым, терять право на защиту и оправдание. Человеку нетрудно извратить свою природу: умный нередко отрекается от своего ума, больной считает себя здоровым или находит удовольствие в ясно сознаваемой болезни. Многие, чувствуя неловкость положения, в которое зашли они, нисколько не стараются из него выйти; напротив, они укрепляются за ним силою привычки, получают вкус к фальшивому и неестественному, остаются добровольными мучениками бесплодного существования, ибо не только легко переносить эти мучения, но и приятно ощущать в них какую-то неопределенную сладость. Иное дело — внутренние страдания людей, у которых сила мысли и чувство нравственности действительно глубоки: здесь раскрывается героизм скорби — вполне истинный и сильный и потому вполне достойный общего сочувствия. Иное же дело героизм, разменянный на мелкую монету, который мы напускаем на себя, который становится потом предметом моды, окружает нас искусственную, нами самими созданную атмосферу. Зная ее заразительность, мы дышим ею охотно, вместо того чтобы выйти на свежий воздух...

При таком искусственном, превратном настроении духа, при такой привычке к нездоровым элементам человеческой жизни важное не отличается более от неважного, мечтательные, воображением созданные горести узаконяются наравне с действительными, и даже первым отдается преимущество перед последними. У человека есть все, что нужно для счастья, а он видит в себе несчастного. Нося в груди своей так называемую *скорбь мира*, он не замечает вблизи себя действительной скорби и страданий. Ему трудно прожить и один день, тяготящий его своим ровным, давно изведанным течением, а другие мужественно и с самоотвержением изживают долгую жизнь лишений, не представляющую им и надежды на облегчение. Его боль, часто вычитанная из книг или заимствованная от других примеров, становится для него предметом психологического анализа, целью сердечной привязанности. В этой свычке с тем, от чего следовало бы отвыкать как можно скорее, играет немало важную роль тщеславие. Привычка *так* мыслить и чувство-

вать есть особый эпикуреизм, комфорт вроде мягкой мебели и прихотливого обеда. Тщеславный кокетничает своею внутреннею настроенностью или, вернее, расстроенностью, любителю ею, делает из нее парад. Само собою разумеется, что подобному эпикурейцу нетрудно попасть с течением времени в разряд дюжинных донжуанов. Страдалец оканчивает свой век фатом.

Впрочем, это только смешная сторона дела и потому еще менее важная. Но есть в нем сторона опасная и, следовательно, очень важная. Под опасностью надобно разуметь искажение мысли и чувства и привычку к искаженному состоянию умственно-нравственной природы человека.

Непосредственное чувство утрачено. И наслаждение и страдание совершаются посредственно, под надзором мысли, при сознании, часто холодном, того, что проходит в нас именно в то время, когда бы, кажется, анализ вовсе не мог иметь места, когда бы должно было в нас затихнуть все, кроме живого чувства бытия. Новейший эпикуреизм, говорит Юлиан Шмидт в своем резком, хотя и основательном, суждении о некоторых произведениях повествовательной французской поэзии \*<sup>3</sup>, вовсе не похож на эпикуреизм, собственно так называемый. В самом разгаре страстей он умеет сохранять воздержание и холодность; упоение чувств не мешает ему рассуждать о том, какое впечатление произведет оно и на самого эпикурейца, и на его ближних. Он приобрел легкую склонность к представлениям пламенной любви примешивать представления мрачной смерти, осмеивать и презирать чувство в тот самый момент, когда оно достигло высочайшей степени сладости, ощущать мучительную пустоту в сердце при видимом избытке наслаждения, жаждать бесконечного удовлетворения, которое не может быть нашим уделом. Он наслаждается своею греховностью, сознавая ее как греховность. Он удивительно любит разнообразное, хитрое смешение самых утонченных духовных и чувственных наслаждений. Прелесть контраста, алчность к переменам увлекает его до того, что он охотно выступает из одной сферы ощущений в другую, совершенно ей противоположную. Недостает ему искренности, задушевности, полнодушного растворения в испытываемом чувстве, которое он как бы только что терпит. Нет в его страсти того самозабвения, которым даже подкупается строгий судья и которым смягчается проступок. Это особенного рода странный пиетизм<sup>4</sup>: чтоб изведать сла-

\* «Geschichte der französischen Literatur».

дость раскаяния, он намеренно совершает какое-нибудь преступление.

Тот же самый факт искажения обнаруживается и в области мысли. Пытливость ума, столь законная и благородная в своем правильном возникновении и ходе, — обращается в праздную гимнастику, которая обессиливает дух, созданный для деятельности, и делает его неспособным к исполнению долга. Широко распространенная образованность дает возможность даже и ленивым познакомиться с духовными побуждениями. Чтение книг сообщает нам очень многое без большого для нас труда. Мы узнаем желания и чувствования, которых еще не могли иметь. Эти чувствования, преждевременно явившиеся, противопоставляются дальнейшему, действительному опыту жизни как чистый идеал. Ум утомляется прежде, чем он серьезно мыслит; сердце изнашивается прежде, чем найден порядочный предмет для сердца. При первом столкновении с действительностью, с одной стороны, идеал разлетается, как мечтание, с другой — долгое пребывание в атмосфере бесплодного мышления притупляет волю: ибо работа мысли сосредоточивалась не на положительном утверждении или отрицании, особенно не на утверждении, необходимом для действия, а на скитальчестве между разными сферами, на созерцании вопросов, преднамеренно и добровольно поставленных, на разборе основ, на которых должно утверждаться положение чего-либо. Медлительность, нерешительность умственная сообщает и поведению нерешительность, медление. Плодом такого провозждения времени оказывается постоянное стремление отрицать единственно ради отрицания, сомневаться только из любви к сомнению!

То, что выработано вышесказанною умственною гимнастикой, облекается именем идеала, который ставится потом в прямую противоположность с жизнью. Состояние, в котором пребывает человек, достигший подобного идеала, называется борьбою между жизнью и идеалом, действительностью и внутренним стремлением. Но такого разрыва между внутренним и внешним никто не осудит, если он истинный, а не мнимый. Беда в том, что при создании идеала важную роль играет *нравственная незрелость мысли*, бессильная видеть истину мира и выработать подлинное на него воззрение. Недовольство самим собою и другими, страдание при отсутствии согласия между искомым и данным часто происходит не от действительного нестроения общества и всего света, не от сомнения в истине и прочности идеала, который противоречит и обществу и свету, а

от противоречия между различными идеалами, замышляемыми и вымышляемыми идеалистом. Неясное настроение духа причиною тому, что исключительные случаи и патологические моменты собственной жизни человек возводит в нечто общее, в правило или закон; оно причиною смещения пределов чистой мысли, постоянной и одинаковой для всех, и поэтического чувства, мгновенно приходящего и мгновенно уходящего; оно причиною, что капризные требования чувства ценятся наряду с законными тенденциями мысли. Отсюда убеждение в мнимом превосходстве мечтательного и идеального над обыкновенным разумом и силою вещей; отсюда попытка творить жизнь искусственную, которая, конечно, не удовлетворяет потребностям здорового человека; отсюда гордая замашка задавать себе как можно более проблем трудных, многосложных и часто нелепых и потом, при неумении разрешить их, ропот на землю и небо; отсюда же, наконец, еще более высокомерная попытка окончательно решить поставленные вопросы не помощью науки и опыта, а изливанием субъективного чувства. При этих вопросах, имеющих в виду не менее как реформу общественную, или даже и всемирную, реформатор все приносит в жертву своему личному взгляду — и природу, и историю. История, говорит он, есть ряд ошибок и заблуждений: мы начнем истинную, новейшую историю, первая страница которой открывается нашею книгой или статьей. Природа, продолжает он, не существует независимо от человека: мы творим природу, смотря на нее, как нам угодно, и делая из нее, что нам нужно. В таком виде преобразователи, конечно, имеют все значение их родоначальника Герострата.

Как ни печальны результаты вышеизложенного настроения духа, несправедливо обвинять за них, вместе с Лермонтовым, просвещение. Без сомнения, он разумел под этим именем дурное, превратное направление образования или неизбежные невыгоды цивилизации развивающейся. На пути этого развития действительно есть моменты, когда возникают искусственные и неправильные отношения между людьми вместо разумных и естественных, когда мыслящая личность чувствует внутренний разлад с собою и со всем ее окружающим. В такую эпоху являются и аффектация, и страсть к эффектам, и лицемерие, и все другие, частью смешные, частью вредные наплывы, как необходимое почти зло каждого развития, ибо потеря природной, детской наивности не вознаграждена еще приобретением наивности высшей, простоты мудрой. Но в дальнейшем своем преуспевании просвещение гонит все ложное и злое. Контраст



между тем, что есть, и тем, что должно быть, мало-помалу исчезает. Высшая образованность согласуется с благороднейшими наклонностями природы; в жизни водворяется спокойствие сознательное, трезвость духа; примирение, внутренняя гармония становится уделом человека. Хотя Лермонтов ничем не оговорил своих выходов против образования, то есть не обозначал, какое значение придает он тому, что служит предметом его гнева или иронии, но мы никак не можем себе представить, чтобы такой талант и такой ум решился серьезно вздыхать по грубой первобытности народа и детской простоте человека, предпочитая эти качества всем общественным успехам.

Но каким образом в русском обществе сформировалось подобное духовное настроение, против которого сильно негодует Лермонтов и которым овладела русская литература, изобразив его в типе слабовольного человека?

Если настроение это, как своего рода болезнь, приписывается Лермонтовым «гнету просвещения», то разумеется, что оно могло явиться только в среде людей образованных.

У нас не было прямых, непосредственных причин, которые в некоторых сферах западной жизни вызывали то мимоидущее состояние, которое объяснено выше. Мы познакомились с ним большею частью не из собственного, а из чужого опыта. Тем не менее переходная эпоха с ее главными отличиями нам очень известна и Лермонтов может быть сравниваем с Байроном, даже получить почетное название русского Байрона, не по одному обычаю старинных наших критиков, благодаря которым явились у нас свои Горации, Малербы, Расины и Лафонтены. Сочинения его, несмотря на значительный элемент подражательности, служат верным отражением действительности. Другими словами: поэзия его подражательна в том же смысле, в каком подражательна и образованность наша, и самая жизнь, о которых нельзя же сказать, что они призрак, а не действительность. Поэзия Байрона и поэзия Лермонтова столько же однородны, сколько и искренни. Различие между ними, равно как и различие между двумя действительностями, которые в них представлены, заключается не в сущности, а в объеме и степени. Различие по объему состоит в том, что у нас гораздо менее, чем на Западе, то общество, болезни которого раскрыты Лермонтовым; различие по степени состоит в том, что и самые болезни слабее. Общество таких людей, каких мы видим в «Думе», не обнимает даже целого общественного круга, а слагается из единиц и десятков. Однако ж эта малая доля имеет полное право на внимание мыслящего, с одной стороны, на по-

этическое ее воспроизведение — с другой. Ибо там и здесь главное дело не величина общественного круга, а его действительное существование, условленное разными причинами<sup>5</sup>. <...>

В среде духовной атмосферы, которая отличается напряжением мысли и ослаблением воли, пытливостью ума и недостатком энергии, нужной для деятельности, являются иногда люди исключительные, не в пример большинству. Их также коснулась зараза времени; в натуре их также совершилось раздвоение, по которому одна ее половина живет в полном смысле этого слова, а другая мыслит и судит; их также разумела «Дума», оплакивая пустоту и мрак современного поколения: однако ж по особенным дарам природы они возвышаются над общим уровнем и не могут помириться с окружающим их миром. К числу таких людей относятся герои Лермонтова, преимущественно Печорин.

Печорин сознает в себе эту врожденную мощь. Вопросы о самом себе, о цели своей жизни нередко выступают перед ним, особенно в те минуты, когда он видит чудное, фаталистическое сплетение судьбы своей с судьбою других: «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А верно, она существовала, и верно, было мне назначение высокое, потому что *я чувствую в душе моей силы необъятные... Уж не назначен ли я судьбою в сочинители мещанских трагедий и семейных романов — или в сотрудники поставщику повестей, например, для “Библиотеки для чтения”?*.. Почему знать? *Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками!*.. Гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением при сидячей жизни и скромном поведении умирает от апоплексического удара».

Вот как смотрел на себя Печорин! Он различал в себе человека с могучею организацией, существо гениальное, из разряда Байронов или Александров Великих, с высоким назначением на земле. Отчего же цель не достигнута, поток жизни проложил себе дорогу не соответственно назначению? Могут быть тому разные причины. В одном месте Печорин берет всю ответственность на себя: «Я не угадал назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений — лучший цвет жизни». Но в других местах, напротив, он отклоняет от себя вину и таким образом

ставит в затруднение читателя, который желал бы объяснить себе настоящий источник его действий.

Человек, одаренный мужественными способностями, одарен с тем вместе и могущественною жаждою деятельности. Деятельность должна служить необходимым выражением его силы, которая находит в себе двойное побуждение: и природный инстинкт, вызывающий ее наружу, и образованное понятие об ее употреблении, запрещающее ей сидеть сложа руки. Что ж, если по каким-либо условиям время не благоприятствует развитию всего сильного и гениального? если оно осуждает или на бездействие, или на пустоту деятельности? Нет поприща, где бы оказалась возможность развернуться и прилично, и широко; но есть много преград к развитию. Душа, оскорбленная таким порядком дел, испытывает тягостное противоречие не только между идеалом и действительностью вообще, но между идеалом и ближайшею средою. Сила, не находя исхода, пробивает себе другой путь. Желая заявить себя, она истощается на что-нибудь, часто на пустое и недоброе. Печорин похищает и бросает Бэлу, оскорбляет Мери, терзает Веру, убивает Грушницкого. Опыты его деятельности — ряд самых неприятных столкновений с ближними: она истощается в волокитстве, в преследовании таких ничтожных личностей, как Грушницкий или князь Звездич, в обидном обращении с такими добрыми личностями, как Максим Максимыч. Вся его забота проходит в том, чтобы выказать свое превосходство. Затем он уединяется в высокомерной эгоизм — это единственное пристанище сердца, презирающего свет, подобно тому как хищное животное, утолив стремление к хищничеству, скрывается в своей берлоге\*.

Вооружаясь против «гнета просвещения», которое будто бы сделало нас ничтожными, слабовольными лицемерами, сами герои Лермонтова страдают полуобразованием. В них легко рассмотреть цивилизованное варварство. Не по одной антипатии к поверхностному европеизму Лермонтов обращается к горцам и России XVI века. Здесь действовало известное внутреннее сочувствие: *c'est son faible*\*\* — можно сказать о нем. Идеалы, им выведенные даже из среды европейской, дики, неистовы; деспотичный Арбенин, Печорин, Радин, поставленные рядом с героями Байрона, должны завидовать их гуманности и разумности действий. Арбенин любит Нину, но как мстит

\* См. статью Рене Тальяндые «Poètes et Romanciers de la Russie» в «Revue des deux mondes» (1855, февраль, книжка первая)<sup>6</sup>.

\*\* это его слабость (фр.). — *Сост.*

ей? — Хуже Отелло. Вера не столько предмет истинной страсти Печорина, сколько игрушка его тирании и чувственности. Когда он, уморив коня в поездке к Вере, заплакал как ребенок, то были не слезы сердечной привязанности, а, скорее, слезы досады, беснующейся на неудачу прихоти. Тиранические, роковые наклонности нисколько не возвышают его ни над жителем нашей старины, боярином Оршей, ни над жителем Кавказских гор, Хаджи Абреком. Неужели думал Лермонтов реставрировать хилых своих современников, освободить их из-под гнета мирной цивилизации посредством подобных идеалов? Шиллер, в рассуждении о наивной и сентиментальной поэзии, запрещает идиллику обращаться назад, к детству, чтобы не покупать себе желанного покоя ценою драгоценнейших приобретений ума; человека, не могущего воротиться более в Аркадию, предписывает он вести в Элизиум<sup>7</sup>. Неужели этот Элизиум в эпохе Иоанна IV или на вершинах Кавказа? Такова ли *profession de foi* \* нашего поэта? И в этом ли смысле надобно понимать его стихотворение: «Нет, я не Байрон, я другой»? Было бы странно и жалко убедиться в таком взгляде на общество, хотя лица, с которыми мы познакомились, своим образом мыслей и действий заставляют видеть в себе адептов этой, а не иной «общественной философии».

Отсюда прямой переход к нравственному значению героев Лермонтова. Объяснить возможность того или другого образа действий не значит еще вполне с ним расквитаться: следует определить его законность или противозаконность. Различные влияния раскрывают перед нами причины, почему такой-то человек вышел тем, а не иным лицом; они могут даже в известной мере оправдать его, если он выказал себя дурною личностью; но это только обстоятельства, облегчающие виновность, а не оправдывающие ее, *circonstances atténuantes* \*\*, как говорят французы, не более. Преступный характер, уклонившийся при таких обстоятельствах от нравственного начала, заставляет смотреть на себя снисходительнее: самое же начало остается непреклонным.

Если *нельзя* было герою известного времени действовать так, как бы ему хотелось, даже (допустим и это) как бы следовало по его понятиям; то все-таки совести каждого неизбежно представляется вопрос: *должно ли* было действовать ему так, как он действовал? Кто имеет право (и себе допустить, и дру-

\* исповедание веры (фр.). — *Сост.*

\*\* смягчающие обстоятельства (фр.). — *Сост.*

гим позволить) посвятить жизнь мщению за бессилие, на которое он обрекается современной обстановкой жизни? Кто имеет право, удовлетворив чувству мщения, утешаться им, как будто в этом удовлетворении единственный долг человека и гражданина, а в этом горьком утешении единственная награда за подвиг мстителя? И кому же мстить? Тем, которые нисколько не участвовали в печальной жизненной обстановке? В жизни много путей, в обществе много обителей, где можно найти честный приют и серьезную цель: ибо честь и серьезность измеряются не обширным кругом служения, не внешним его блеском, а отношением их к долгу. Кто, помышляя о своих высоких силах, пренебрегает или скучает бременем невысоких обязанностей, в душе того очень много высокомерия и нисколько нет истинной любви к общему благу. Он — аристократический белоручка, бегающий черной работы и брезгающий чернорабочими. Его протест вытекает не из бескорыстной преданности правде: его протест — гневный голос самолюбия, раздраженного неудачей гордых покушений, заносчивых притязаний. В том случае, когда архитектор лишен возможности воздвигать новое здание по своему замыслу, пусть он будет простым каменщиком: пусть готовит камни для будущего здания или расчищает мусор в здании разрушенном. Поденщик, делающий свое дело, почтеннее гения, ничего не делающего или, что еще хуже, делающего ничего. Искренние заботы о собственном и общественном совершенствовании неминуемо связаны с готовностью на жертвы. К жертвам, самозабвению, разумному примирению не способны герои Лермонтова. Они или пассивны и праздны, или тревожны и разрушительны. Им нравится возбуждение единственно ради возбуждения. Их деятельность без всякого содержания. Они руководствуются не идеей долга и созидания, а инстинктом хищничества и нестроения. Это — элемент противообщественный, враждебный самому принципу общества, своего рода Аттилы<sup>8</sup>, то истребляющие, то скупающие. Аристотелево определение человека как существа, назначенного жить в связи, обществе<sup>9</sup>, им не к лицу; они оправдывают определение Гоббеса, который в человеке видел природного врага каждому человеку<sup>10</sup>.

Мы не знаем, какова именно нравственная точка зрения самого автора на личности, им созданные; однако ж не можем не заметить, что эти личности выставляют себя с красивой стороны и часто любят себя. Повесть их жизни — более ее апология, гораздо менее — ее осуждение. Не можем также не заметить, что в отношении к ним Лермонтова легко различить

сочувствие и нелегко отыскать антипатию. Он не смотрит на них иронически, говоря: «Вот жалкий герой нашего времени, больного слабоволием и бездействием, сам зараженный теми же болезнями!» или: «Вот чем в наше время сильный человек принужден заявлять свою силу!» Нет, Печорин, Арбенин, Радин поставлены им на значительно-высокие подмости, окружены обаянием, могущим привлекать к ним сердца многих, преимущественно молодых, людей. Они кокетничают своею силой, выставляют ее напоказ, делают из нее парад. К ним как нельзя лучше идут слова, сказанные об Адольфе Бенжаменом Констаном, который, по предположению некоторых, изобразил в вымышленном герое дурные черты своего характера, тщеславие и изменчивость, но который с тем вместе произнес им правдивый упрек:

«Я ненавижу фатство ума, который думает оправдать то, что он объясняет; ненавижу тщеславие, которое занимается само собою, рассказывая учиненное им зло; хочет возбудить к себе сожаление, описывая себя, и, носясь невредимо над развалинами, анализирует себя вместо того, чтобы каяться. Ненавижу слабость, которая всегда обвиняет других в своем бессилии, не замечая, что причина зла не вне ее, а в ней самой. Адольф за свой характер наказан своим же характером; наказан потому, что не следовал ни по одному постоянному пути, не выбрал ни одного полезного поприща, истощал свои способности без всякого направления и силы: направлением служил ему каприз, силою — раздражение. Обстоятельства очень мало значат, все дело в характере. Напрасно расстаются с людьми и предметом, нельзя расстаться с самим собою. Можно изменить положение, но в каждое новое положение такой человек вносит муку, от которой желал бы он освободиться; перемена места не исправляет его, она прибавляет только к сожалениям угрызания совести, к ошибкам — страдания»<sup>11</sup>.

В тоне рассказа Печорина, в способе ведения интриги, даже в языке и слогe ясно видишь отпечаток блеска и тщеславия. Здесь Лермонтов подражал приемам французских романов, как в главных свойствах характера подражал он Байрону. По складу своему, по внешнему, так сказать, покрою «Герой нашего времени» с своим доктором Вернером, напоминает скорее «*La confession d'un enfant du siècle*»<sup>12</sup>, где также есть доктор, чем так называемые романтические поэмы Байрона.

Не один Бенжамен Констан, но и Шатобриан жалел о тревоге своего героя (Рене), проводившего жизнь в бесплодных мечтаниях, а не в плодovитой деятельности. Историки литературы,

например Гервинус<sup>13</sup> и Ю. Шмидт, также порицают высокомерные притязания, гениальничанье людей, подобных тем, о которых мы говорили. В более зрелом возрасте, при более трезвом взгляде на жизнь и деятельность и при более серьезном направлении того и другого, ложный героизм не обманывает более: чувствуется настоятельная потребность героизма истинного. В наше время герою не нашего времени, печального и потому еще, что оно производило таких героев, мы вправе сказать то же самое, что миссионер и Шактас, слушавшие повесть Рене, сказали ему в заключение рассказа:

«Ничто в этой истории не заслуживает сожаления. Я вижу юношу, упрямо преданного химерам, которому ничто не нравится и который освобождается от бремени общественного служения, чтобы предаться бесполезным мечтаниям. Человек, презирающий мир, не есть еще человек великий. Ненависть к людям и жизни происходит от недостатка дальновидности, от узкого кругозора. Расширьте горизонт ваш, и вы убедитесь, что все несчастья, на которые вы сетуете, чистая ничтожность... Что делаете вы здесь, в глубине лесов, влача бесполезно дни и пренебрегая всякою обязанностью?.. Высокомерный юноша, думавший, что человек может довольствоваться только самим собою! Уединение усугубляет душевные силы и в то же время отнимает у них предметы деятельности. У кого есть силы, тот должен посвятить их на служение ближним; оставляя их бесплодными, он в то же время чувствует тайную нищету, и рано или поздно небо ниспошлет ему страшное наказание».

«Миссисипи, еще в начале своего истока, жаловалась на то, что она только прозрачный ручеек. Она требовала снегов у гор, вод у потоков, дождей у бурь, и вот она выступает из берегов своих и затопляет прекрасные берега свои. Надменный ручей восхищается своею силою; но как только увидел, что на пути его все исчезает, что он одиноко течет в пустыне, что волны его постоянно возмущены, он пожалел о скромном русле, изрытом для него природою, о птицах, цветах, деревьях и ручьях, бывших некогда скромными спутниками его мирного течения»<sup>14</sup>.

В заключение статьи нашей, имевшей предметом не всесторонне исследовать поэтическую деятельность Лермонтова, а только рассмотреть значение того идеала, который является во всех его произведениях, сообщая им главный характер, считаем не бесполезным представить ее содержание в кратких положениях:

Любимый герой нашего поэта, под разными именами выведенный в повествовательных и драматических пьесах, есть, в

сущности, одно и то же лицо. В том же виде выступают черты этого лица и в лирических стихотворениях.

Характер этот весьма сходствен, иногда тождествен с героями Байрона.

Причина такого сходства, с одной стороны, в подражательности и, может быть, в сходстве характеров и общественных положений поэтов, с другой — в общем настроении европейских образованных классов. Почему вопрос о поэзии Лермонтова обращается в вопрос о поэзии Байрона, иначе — о поэзии переходной эпохи.

Поэзия переходной эпохи создала две личности: одну — слабовольную и пассивную, другую — энергическую и порывающуюся к деятельности. На последней отразились также болезни века: скептицизм, страсть к анализу, нерешительность, почему в ней ясно различается внутреннее раздвоение.

Оба типа начертаны Лермонтовым, но преимущественно и с большим развитием — второй, в лице Печорина, Арбенина, Измаил-Бея, Радина, Демона и других. Все они страдают означенным раздвоением.

Кроме влияния общеевропейской образованности, которое мы испытываем наряду с другими народами, герои Лермонтова приняли влияние собственно национальное, то есть подпали действию известной эпохи: поэтому они выражают действительность, запечатлены истинностию, а не принадлежат к вымыслам, не суть результаты простого заимствования у других поэтов.

Указанные болезни эпохи, делающие человека слабым, бесхарактерным, самолюбивым, злым, Лермонтов объясняет «гнетом просвещения», при котором утрачиваются естественные благородные инстинкты. Им противопоставляет он достоинства старины или жизни младенствующих, диких народов. В этом его общественная философия.

С нравственной точки зрения действия героев Лермонтова не могут быть оправданы: они безнравственны и в гражданском, и в общечеловеческом отношении.

Что касается до художественного значения поэзии Лермонтова, то высокое достоинство его не подлежит сомнению. Мы не входили в разбор его, предоставляя это другим. Цель наша, повторяем, состояла в том, чтобы рассмотреть *внутреннее значение образа*, начертанного Лермонтовым, как главного идеала его ума и фантазии.

